

Он явился к иркутскому губернскому воинскому начальнику по перевозкам и получил нагоняй за то, что не смог представить всех железнодорожных билетов от самого Полоцка. Начальник кричал, что его не интересует, на чём добирался вахмистр, и стучал кулаком по столу, что вместо отпуска он посадит Иннокентия Четвертакова под арест, и Кешка с трудом умалчивал, что он этого хочет больше всего на свете. Потом начальник утих, стал улыбаться, вышел из-за стола и пожал Иннокентию руку и сказал, что поздравляет его с «очередным Георгием», но вот, мол, беда, бумаги шлют-то шлют, а «медали» — нет! Но, может быть, на обратном пути будет и «медаль», и тогда начальник всенепременно её вручит герою-земляку. На проездном документе начальник поставил печать, написал дату: «21 октября 1915 года», — и расписался, очень красиво, со множеством завитушек; от этих завитушек и от самого начальника благоухало, просто дышало одеколонами. После этого начальник отпустил и велел на обратном пути зайти и отметить и обещал, что закажет Иннокентию, как «земляку-герою», билет до самой Москвы.

Иннокентий вышел. Иркутск был ему знаком очень приблизительно, и Кешка пошёл в то место, которое он знал хорошо, — на городской рынок.

Он шёл, осматривался, город казался ему совсем иным, чем он его помнил. Иркутск уже готовился к зиме, уже жители вставили вторые рамы, уже проложили между рамами мох или ветошь; скорее всего, уже заклеили окна полосками бумаги, спасаясь от ветродуев. Ангара текла спокойно, а в самых тихих местах слегка парила, свидетельствуя о том, что скоро придут морозы.

Воинский начальник его удивил: сначала такой злой, а потом такой добрый и внимательный. Думая об этом, Кешка краем глаза заметил, что идёт мимо оружейного магазина, и он остановился. В витрине стояли самые разнообразные ружья, и Кешка решил зайти, просто посмотреть и поинтересоваться, сколько стоит винтовка с оптическим прицелом, которую купил и даже дал стрельнуть командир полка подполковник Вяземский. Спросить командира о цене он не решился. Иннокентий повернулся к двери.

Добраться до Листвянки было два пути: до станции Байкал на поезде по левому берегу Ангары и по просёлочной дороге по правому берегу. До станции Байкал на поезде было пару часов, даже меньше, а по дороге, по правому берегу, почти день, и так и так по семидесяти вёрст. На станцию Байкал Иннокентий не хотел, он даже не спрашивал себя почему. Поэтому сейчас он зайдёт в магазин, поглазеет, потом пойдёт на базар купить всё же Марье гостинец, а потом выйдет на дорогу и попросится к землякам доехать до дому.

Он зашёл в магазин.

Стал смотреть по витринам и прилавкам — всего было много: и ружей, и гильз, и пыжей, в мешочках лежал порох, дробь, рядками — свинцовые прутки разной толщины, из них можно накусать и потом катать пули, кучками стояли уже снаряжённые патроны, а такой винтовки, как у Вяземского, не было. Приказчик следил за ним глазами и не двигался. Его можно было бы спросить, но Иннокентию не захотелось: если бы такая винтовка в магазине продавалась, то она наверняка была бы украшением и её не стали бы держать в загашнике.

За прилавком открылась дверь, и зашёл Мишка Гуран, в руках у него был мешок. Иннокентий застыл, Мишка тоже. Приказчик это увидел и отошёл в угол.

Мишка крикнул.

И Иннокентий крикнул.

Мишка поставил мешок на прилавок, приказчик перехватил и стал устанавливать на напольные весы. Мишка купил пуд пороха, Иннокентий понял так, и стоял, ждал.

Мишка склонился к весам и смотрел, как приказчик двигает гирьку, из кармана вытащил деньги ворохом, потом распрямился и посмотрел на Иннокентия.

Мишке как раз надо было на станцию Байкал, только оттуда он мог на пароме перебраться на тот берег, но он не хотел отпускать Иннокентия, он трижды обнял и поцеловал его, и они поехали на рынок. Мишка был человеком разговорчивым, как все таёжники-лесовики, но пока ехали, он молчал, и когда сели обедать в кабаке, тоже молчал. Иннокентий догадывался почему.

За полштофом всё-таки разговор потёк, но оба избегали говорить о Марье. Теперь Иннокентий был уверен, что то, чего он опасался, с его Марьей случилось, и тут говорить было не о чем. Поэтому разговаривали про охоту, про рыбалку, про промысел. Выпивали под омулёвую расколотку с отварной картошкой и квашеной капустой, закончили чаем. На рынке Иннокентий под пристальным взглядом Мишки купил Марье гостинец—огромный павловопосадский рыжий платок с красными макамаи, чёрной каймой и длинной бахромой. Потом они на телеге доехали до Бурдугуза, дали передохнуть лошадке и добрались до Листвянки. Иннокентий всё осматривался, узнавал родные места и слушал Мишкины повестухи, а когда увидел посередине Ангары Шамаккамень, заволновался. Мишка слез с телеги, взял мешок и спросил:

— Скока тута буишь?

— Десять дён, с сегодняшнего.

— Я послезавтрева сюдой снова приду,— сказал Мишка,— никуда не девайся, порыбалим вместе! Пойдём в сторону Ольхона, на Хартактай, щас тама што омуля, што сига—мешками бери.

Иннокентию и так было некуда деваться, а Мишка, перед тем как распрощаться, надулся. — Бабу не трогай, она не виноватая!

Кешка шёл по родной Листвянке и думал, что первой—зайти к отцу Василию или домой. Надо бы к отцу Василию, но Иннокентий знал наперёд, что будет: отец Василий начнёт уговаривать не трогать Марью и скажет то же, что и Мишка, что не виноватая она. И Иннокентий шагал.

Было уже темно, в окнах изб трепетал свет, тихо подвывали собаки и иногда сбрёхивали, когда Иннокентий проходил мимо чьих-нибудь ворот.

Это было очень хорошо, что он приехал в Листвянку, когда уже темно и он ни с кем не встретится. Не дали бы проходу, а ещё бы развязали языки, и Иннокентий узнал бы то, чего не следовало.

Он шёл с пустой головой, его ноги узнавали дорогу, ямы и колдобины, будто не было этих двух годов; он слышал Байкал: если рядом большая вода, от неё всегда исходит шум, который ни с чем не спутаешь.

Воон его изба и ворота с навесом на обе стороны, а в воротах калитка с дыркой; если в дырку просунуть руку, то там и щеколда.

Он подошёл, поправил на плечах сидор, сунул руку в дырку, нащупал щеколду и поднял, калитка поддалась. Во дворе звякнул цепью Гунявый—старый лохматый пёс, поскуливая и мотая большой головой, пошёл к Иннокентию. Окна мало-мало светились, и открылась дверь. В просвете стояла Марья с пустыми руками. Иннокентий увидел и облегчённо вздохнул.

— Я знала, што ты придёшь.

Иннокентий сидел за столом.

— Отец Василий сказывал?

Марья кивнула и поднялась.

Половина комнаты была занавешена, и Марья говорила тихо. Кешка тоже говорил тихо. На столе стояли бутылка, два стакана, крынка с молоком, хлеб. Марья с ухватом в руках ждала у печи, когда подойдёт уха.

Иннокентий так и не придумал, как ему быть.

Марья изменилась. Она набрала. Когда она двигалась, под рубашкой колыхались большие груди, и ей пришлось расширять юбки, потому что в бёдрах она тоже набрала. Она накинула на плечи гостинец, концы почти достигали пола, и цвет подходил к её глазам и белой коже. И Кешка понял: он её не станет убивать, только в Байкал выкинет младенца.

— Ты надолго?—спросила Марья.

— На десять дён,—ответил Иннокентий.

— Мало!

Иннокентий взялся за бутылку:

— Мишкина?

— Его, он тоже знал, что ты придёшь, и всего напринос.

Иннокентий огляделся: ничего не изменилось, и его забрала такая тоска. Как бы всё было, ежли бы этого не было! А может, и ничего бы не было, и не было бы этого отпуска, и скакал бы он сейчас на своей Красотке куда глаза глядят.

— А где?—спросил он.

— Отнесла к отцу Василию.

— А кормишь как?

— Сбегать недалеко.

— Который уже день?

— Неделю.

Кешка встал и отдернул занавеску. За занавеской стояла большая городская железная кровать с блестящими шарами, кровать его родителей, в углу—сундук его родителей. Кровать была разобрана, и угол ватного лоскутного одеяла откинут рядом с подушками, будто с приглашением. На стене висели тятина курковка на кожаном ремне и патронташ. И ничего не напоминало о ребёнке. Нет, напоминало: на сундуке стоял резной деревянный раскрашенный болванчик. Детская игрушка. Иннокентий накиннул шинель и вышел на крыльцо, а перед этим сказал:

— Послезавтра придёт Мишка, пойдём в сторону Ольхона, порыбалим.

— Надолго?

— Видно будет.

Ночь была тихая и чистая. Над Ангарой висела Большая Медведица с протянутой лапой или длинной мордой, отвернувшаяся от своего медвежонка. Мамка когда-то сказывала, что «медвежонок накуролесил, и медведиха от него отвернулася», и если они с братом будут «куролесить», то она

тоже от них отвернётся, тогда они с братом испугались, что их мамка превратится в медведиху, а тятя улыбался.

«Завтра, што ли, к отцу Василию сходить? Письмо-то от отца Иллариона пришло, по всему видеть! — подумал Иннокентий. — А што с того, што пришло? Я-то уж всё одно здесь!»

Ужинали молча. Марья почти не ела, только подливала и подкладывала Иннокентию. Мишкина медовуха была крепка и хороша, но не забирала.

Марья с Иннокентием посидела, налила чай, встала и пошла в угол молиться. Молилась на коленях, и Иннокентий смотрел на её широкую и ладную спину под ярким платком. Он знал, что Марья его и он её любит.

Помолившись, Марья зашла за занавеску, задёрнула, и Иннокентий услышал шорох одежды и скрип кровати.

Он ещё долго сидел, помалу пил, хмель не брал. Он выходил курить на крыльцо, выкурил последнюю, вернулся в комнату и лёг на лавку под окном — его с братом место. Подумал: «Завтра надо баню истопить! Завтра Казанская!» — и сон его забрал.

Кешка проснулся от знакомого стука и прислушался. Марья рубила дрова. Он приподнялся, отодвинул занавеску и увидел, что весь двор белый от снега.

«Вот те на! За ночь упал! И вправду Казанская! Бабий день!»

Он поднялся; на столе стоял горячий самовар, в блюде лежали крендельки, колотый сахар, а в другом блюде — тонко нарезанная репа. Кешка стал хрумтеть репой и подумал, что надо бы добежать кой-куда. Там, откуда он приехал, всё было не так: драгуны, проснувшись, сначала бежали кой-куда, а потом уже думали про еду. Но здесь он дома, и порядки другие. В нужник вела дверь — из дома прямо на огород.

«Акка, тятя мой молодец, царствие ему небесное, как дверь-то ладно пробил!»

Кешка стеснялся Марьи, он накинул тулуп, вышел на задний двор и задохнулся от мороза. Вчера ничего такого не было. Он справил нужду и вышел на снег. В Польше снега почти не бывало или на него было некогда смотреть, а если и был, то не такой. Тут дома снег — как вода байкальская, чистый, свежий, только что белый и непрозрачный. Кешка набрал пригоршню и стал тереть лицо, набрал полный рот, пожевал и выплюнул, потом скинул кожух, рубаху прямо на снег и стал тереть грудь, под мышками, и его охватил восторг. Он накинул кожух на голое тело, подобрал рубаху и пошёл в дом.

Марья уже сидела за столом и ждала. — С праздничком, — сказала она и смотрела чуть исподлобья.

— И тебя, жонка, с праздничком.

— Сымай с себя всё, я постираю.

— Шибаёт? — спросил он и осёкся: малую толикувшей он привёз.

— Я из сундука подняла чистое исподнее, — сказала Марья и вышла.

Кешка быстро разделся, всё, что на нём было, скинул к двери и мотанулся за занавеску, так он стеснялся жены. И как раз она вошла, подняла Кешкино бельё и сказала:

— Баню я истопила, квас под полком, а убрус на полке. Не одевайся пока, накинь кожух, вона валенки... Так добежишь?

Кешка стоял за задёрнутой занавеской и, хотя его никто не видел, прикрывал руками причинное место.

— Добегу. А ты как же?

— Я тута, неподалёку, — сказала Марья, и Кешка услышал, что дверь закрылась.

Он ещё постоял, прислушался, в доме никого не было; он выглянул из-за занавески, комната была пустая; он вышел, держа руки как прежде, сперва накинул кожух, а потом сунул ноги в колючие валенки. Выглянул на улицу, на дворе было пусто, и он дал стрелочка в баню.

Баня была хорошая, тятя ставил. Это они с мамкой вдвоём так справно всё сладили. Теперь Кешка понимал, как они любили друг друга. Маленькими их с братом сначала мыла мамка, а потом, когда подросли, вытянулись и стали стрелять глазами, их перенял тятя. А тятя любил жар, да чтоб с травами, да веник из плакучей берёзы, да чтоб ветка в нём была воткнута еловая, смолистая и колючая! Они с матерью их так вязали — веники. А когда мальчишек выгоняли, сначала на снег, а потом и вовсе, мать шла к тятю с распущенными волосами и в тулупчике, из-под которого был виден подол длинной рубашки, и парились они подолгу.

Иннокентий осматривался: вот отсюда они с братом родом — из этой бани.

В предбаннике он повесил на деревянный колышек кожух, скинул валенки и вошёл в парную. Тут тятя расстарался: в углу железная печка, рядом колотые короткие дрова. И Марья расстаралась — печка гудела. Кешка взял полешку и стукнул по ней согнутым пальцем и приложился ухом — полешка звенела, сухая. Под потолком висели пучки трав, и даже было оконце с настоящим прозрачным стеклом — фортка. Фортку можно было приоткрыть, если вытащить один колышек, и открыть пошире, если вытащить два. Это когда тятя приходил из тайги и от него пахло кислым, он принимал первый пар и после этого открывал фортку, чтобы «дух обновить», а потом закрывал, чтобы «жар зря не тратить».

Кешка фортку пока открывать не стал, жара ещё не было. Он пожался, прикрыл вьюшку, и печка стала гудеть меньше. На печке был железный

короб, в коробе лежали гранитные камни с берега Байкала, но пока они ещё были только-только тёплыми. Рядом с дверью блестела мокрыми округлыми боками привозная дубовая бочка, всегда скоблёная, чистая и светлая; Кешка вспомнил Марьины белые плечи и мотнул головой. Он сел на нижний полóк. Дерево под ним ещё было прохладное. Полков было два: нижний — неширокий, только под задницу, а верхний, выше нижнего на коленку, был широкий, на нём могли лежать двое. Сейчас на верхнем полкё белел сложенный чистый убрus.

И Кешка вспомнил помывки в полку. Когда до войны жили в казармах, то водили в баню, большую и вонючую, а когда война началась, и вовсе стало погано. Драгуны натягивали палатку, где-то стырили и стлали на землю парусину, рядом с палаткой жгли костёр и калили камни, потом кузнечными клещами носили камни в палатку и бросали в два эскадронных кухонных котла с водой. Всё шипело, и палатка наполнялась едучим паром. А потом — как хочешь: хочешь — снегом оттирайся, а хочешь — обливайся водой, если была. Сначала мылись офицеры, а потом нижние чины поэскадронно, начиная с первого. Самые несчастные были номер пятый и номер шестой, последние. Но только всё это было возможно тогда, когда полк отводили на отдых.

А офицеры... конечно, они мылись первыми, как бабы.

Кешка сморгнул, отвлёкся, повёл рукой и почувствовал, что воздух стал горячий. Он поднялся, зачерпнул ковшиком воды, понюхал — вода была свежая, заглянул в бочку и увидел дно — бочка была чистая и изнутри тоже скоблёная. Он зачерпнул ладоншкой и попил — вода вкусная. И он снова сел, надо было ещё подождать, и вспомнил, как в дрожащем перегретом воздухе, на пыльной дорожке, голый ротмистр Дрок подначивал стеснявшегося корнета Кудринского, что, мол, надо расставить ноги пошире, чтобы не сопрело. И улыбнулся. Последний раз Кешка мылся в Москве у матери и отчима, денщика Клешни, из-под крана коричневой московской водой.

Кешка стал чесаться, и уже не хватало терпения, когда печка раскочегарится по-настоящему. И глянул на камни. Камни нагрелись, он плеснул полковщика. И тут вспомнил, что перед тем, как выйти, Марья сказала, что под полком стоит корчага с квасом, хлебным. Кешка нагнулся — корчага была, и на борту у ней висел черпачок; он налил в ковшик половину черпачка квасу, добавил воды и плеснул.

И задохнулся.

В бане запахло травами, сенокосом, летом, печёным хлебом, домом.

Он стал чесаться и плескать на камни квасом с водой, и стекло на фортке затянуло паром.

Кешка неистово потел. Волосы встали дыбом, пот заливал глаза, он сначала ковшом, а потом просто ладонями прямо из бочки плескал в лицо, на грудь, под мышки, скрёбся ногтями и в один момент, не раздумывая, как камень из рук хулигана, вылетел из бани и кинулся плашмя на снег. Снега было ещё мало, он стребал вместе с коричневой землёй и мазал по лицу и всему телу; его всего прошибло, как разрядом молнии, и он заскочил обратно в парную. И успокоился.

Уже медленно Кешка набрал воды и смыл с себя грязь, полил на волосы и замотал головой. Подбросил в печку дров, плеснул с квасом и улёгся на верхний полок.

Он не заметил, что Марья уже вернулась, он не знал, что она покормила ребёнка и пришла домой и что за ним смотрит.

Кешка разлёгся, он прел и полной грудью дышал, к нему приходило ощущение чистоты, давно забытой в полку. И задремал.

Он что-то услышал, но не понял что и открыл глаза. Перед дверью стояла Марья в одной рубашке до пят и с распущенными ниже талии волосами. Он хотел приподняться на локоть, но не достало сил, и он только повернул голову. Марья на секунду вышла и вернулась с большим ушатом. Вода в бочке была уже тёплая, она набрала полный ушат, села на нижний полок и стала из ковшика лить воду на Кешкино тело. И Кешка потерялся между небом и землёй. Марья легонько толкнула его в плечо, Кешка перевернулся на живот; в бане можно не разговаривать, они понимали друг друга от прикосновения. Марья встала на колени и грубым мочалом тёрла ему спину. Кешка лежал щекою на локте, он застыл, его глаза закрылись, а мысли остановились.

Через несколько минут он открыл глаза и посмотрел на Марью. Она встала набрать воды, и Кешка увидел, что она совсем голая, жарко, жарко, она сняла мокрую рубашку, и сейчас рубашка лежала под ногами. Марья поставила ушат на пол и наливала ковшом воду, она была к Кешке спиной, он сел, потом поднялся и шагнул к ней. Марья обернулась, убрала с мокрого лица мокрые волосы и сказала: — Сёдни пока нельзя, тока завтра.

И Кешка подумал: «Чёртов Мишка, приспичило ему с его дурацкой рыбалкой!»

Только на восьмой день приехал Мишка Гуран, когда Иннокентий уже собирался уезжать на запад в полк.

Мишка ввалился в избу, бухнул на пол мешок и уселся на лавку.

— Фу, чёрт! — он повернулся и перекрестился на образа. — Прости Господи! — и выдохнул: — На силу перебрались, — помотал головой. — Думали, вмерзнем, — и улыбнулся. — Спасибочки, ледакол послали в помощь, а то щас морозил бы соплю посередке Байкала-батюшки.

Отец Василий с матушкой уже сидели здесь и все их дети, кроме старшей дочери, но она прибегала пораньше, чтобы попрощаться, и Иннокентий понял, что её оставили с дитём.

Он, Марья и отец Василий только что вернулись с кладбища.

Отец Василий от Мишкиных слов плюнул и стал креститься и оборачиваться на образа.

— Чего не ко времени поминаешь, чёрт таёжный, колода?! Человеку в дорогу, а ты заявился тут и чертыхаешься!

— Сам-то чё поминаешь? — Мишка оглядывал всех, кто был в избе, увидел, что Марья нет-нет да и утрёт слезу, и успокоился. — А мне, батюшка, с Иннокентием по пути, мне в Иркутск надобно! Лошадь-та дашь?

— Дам, куда деться! Што самому в Иркутск, што тебя с ним... Отпускаю, езжай! А можа, так-то оно и лучше! — сказал отец Василий и махнул рукой.

Когда сборы и прощанье кончились и Мишка ударил лошадку вожжами, вся Листвянка уже была на околице в начале тракта, и все провожали Иннокентия. Бабы плакали. Они плакали за Иннокентия, как за всех мужиков, кого забирала война, а отец Василий крестил его в спину.

Мишка гнал, не жалея батюшкиного маштака, до Бурдугуза. Там перепряг и снова гнал. Снегу насыпало, полозья хорошо скользили, и до Иркутска добежали к середине дня. Иннокентий всю дорогу оглядывался на Мишку — какой Мишка заявился весёлый утром, и какой он хмурый и сердитый сейчас, — но спрашивать было не с руки, потому что они сидели друг к другу спинами. Иннокентий замёрз, Мишка спроворил в Бурдугузе тулуп, и Иннокентий накинул его поверх шинели. Однако всё равно было холодно. Мишка вынул из-под себя старую латунную фляжку и передал её Иннокентию:

— Согрейся, но не шибко! Тебе ишо к начальству!

К начальству успели, начальник был хмур и не вспомнил Иннокентия или сделал вид — скорее всего, что так, — потому что ни словом не обмолвился про награду, но вызвал какого-то своего гражданского подчинённого. Тот, когда Иннокентий получил от начальника проездной аттестат и все казённые отметки с печатями, подвёл его к своей конторке, подал Иннокентию билет на проходящий из Маньчжурии поезд до самой Москвы и стал заглядывать в глаза. Иннокентий рассчитался и сверху положил ещё пять рублей ассигнациями, и подчинённый сунул деньги в карман. Он сделал это так ловко и так проворно, как будто они просто простились за руку.

Мишка ждал у присутствия. Когда Иннокентий вышел, Мишка спросил, когда отходит поезд, посмотрел на небо и произнёс:

— Ишо есть время, надо бы повечерять.

Тут Иннокентий понял, что никаких дел у Мишки в Иркутске нет.

Они приехали к вокзалу и сели в ближнем кабаке.

Мишка заказал полштофа, пельмени и расколотку из сига, разлил, они выпили; Мишка поднял на Иннокентия тяжёлые глаза и спросил: — Мальца-то видал?

— Нет.

— И правильно, а то скинул бы в Байкал и принял на себя грех, а баба у тебя умная, да и ты не дурак.

Выпили ещё, и на прощание Мишка произнёс: — Воюй справно, не бойся, смерть-матушка таких, как ты, не жалуе!

— А эти-то, звери, где? — спросил Иннокентий

Мишка позвал полового:

— Принеси-ка, братец, ишо. А ты иди, — сказал он Иннокентию, — а я тут посижу, мне торопиться некуда, в обратную сторону тока завтра.

— А эти-то где? — снова спросил Иннокентий.

— Боле не ищи. Нету их.